

Сергей Свой



СТИРАТЕЛЬ

18+

БУДУЩЕЕ НЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО

Сергей Свой

Стиратель. Будущее не predetermined

<https://litres.ru/74054788>

SelfPub; 2026

Аннотация

Великий ученый Стивен Хокинг в рамках своей теории Хартла — Хокинга рассматривал Вселенную как квантовую систему, которая одновременно находится в бесконечном множестве состояний. По его мнению, наша реальность — лишь одно из них, а помимо неё существуют параллельные миры, которые отображают все возможные исходы любых происшедших событий. Также Хокинг предполагал, что чёрные дыры могут быть «порталами» в параллельные миры.

Давайте попробуем в один портал заглянуть?

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	43
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Сергей Свой

Стиратель. Будущее не предопределено

Название: Стиратель. Будущее не предопределено

Автор(-ы): Сергей Свой

Ссылка: <https://author.today/work/606587>

Глава 1

СТИРАТЕЛЬ

Будущее не предопределено

Кембридж, Англия, кабинет профессора Стивена Хокинга

16 ноября 1983 года, 23:40

Джеймс Хартл нетерпеливо отодвинул от себя мятый лист, испещрённый тесными рядами формул. С минуту он сидел неподвижно, уставившись в бесконечность жёлтого света настольной лампы, затем запустил пальцы в давно не стриженные волосы — привычка, которая бесила его жену и неизменно восхищала аспирантов своей богемной небрежностью. Волосы торчали во все стороны, придавая физику сходство с взъерошенным воробьём, который только что чудом избежал лапы кота.

— Вы опять не туда смотрите, Стивен, — произнёс он почти с вызовом, не скрывая раздражения, копившегося последние два часа. — Вся проблема в том, что вы мыслите Вселенную как один-единственный шар. Бильярдный шар, понимаете? Ударили кием — он покатился по прямой. Клас-

сика. Ньютон отдыхает.

Хартл сделал паузу, достал из пачки новую сигарету и закурил, не спрашивая разрешения. Синий дымок поплыл к потолку, где смешивался с остатками тумана от четырёх предыдущих. Потёртый английский ковёр уже был усыпан серым пеплом — Хокинг терпеливо сносил этот беспорядок уже четыре часа, с тех пор как Хартл ворвался в кабинет с криком: «Я нашёл решение, Стивен! Оно здесь, чёрт возьми!»

— Но квантовая механика, — продолжил Хартл, размахивая сигаретой как дирижёрской палочкой, — не любит прямых линий. Она любит вероятности. А общая теория относительности не выносит случайностей. И вот уже сто лет мы пытаемся их поженить, а в итоге каждое утро просыпаемся с похмелья в разных постелях.

Хартл усмехнулся собственной шутке, но Хокинг не поддержал его. Стивен Хокинг сидел за письменным столом, заваленным бумагами, — настоящая крепость из научных трудов, распечаток, писем и номеров *Physical Review*, наваленных стопками, напоминавшими средневековые бастионы. На стопках покоились исписанные от руки заметки, зелёные тетради в клетку и два экземпляра последнего выпуска *Nature*.

Он смотрел на коллегу из Калтеха с той лёгкой, чуть на-смешливой искрой в глазах, которая всегда возникала, когда он слышал нечто, одновременно безумное и гениальное. Этот взгляд многие годы пугал студентов, злил оппонентов и восхищал друзей. В нём не было высокомерия — была спокойная уверенность человека, который уже заглянул в чёрные дыры и обнаружил, что они не такие уж чёрные.

— Бильярдный шар — это милая классика, Джеймс, — ответил Хокинг, растягивая слова в своей неторопливой манере. — Но мы имеем дело не с шаром. Мы имеем дело с волновой функцией целой Вселенной. Ваша «бесконечная множественность» — это не более чем попытка подменить физику красивой метафизикой. Слишком просто. Слишком удобно. По сути, вы предлагаете решение, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Хокинг на секунду замолчал, обводя взглядом комнату, словно ища поддержки у книжных шкафов, где за стеклом теснились корешки «Nature» за двадцать лет, подшивки «Physical Review Letters», «Творческие принципы физики» Эддингтона, «Космические нити» Уилера, «Гравитация» Мизнера, Торна и Уилера — тот самый кирпич, который знал каждый физик-теоретик второй половины двадцатого века.

— Это не наука, Джеймс, — закончил он. — Это религия.

Хартл не обиделся. Он знал Хокинга достаточно хорошо, чтобы понимать: эта насмешка — форма уважения. Если бы идея была совсем плоха, Хокинг просто промолчал бы и перевёл разговор на погоду или на последний дурацкий фильм, который ему довелось посмотреть. А раз он спорит — значит, зацепило.

— Стивен, послушайте меня внимательно, — Хартл подался вперёд, жестикулируя так энергично, что чуть не смахнул на пол стопку книг. Он перехватил её в последний момент, и книги с глухим стуком рухнули на стол. Никто из них не обратил на это внимания. — Мы оба знаем: общая теория относительности и квантовая механика ненавидят друг друга. Эйнштейн ненавидел квантовую механику, а квантовая механика платила ему взаимностью — насколько это возможно для математического аппарата. Они как кошка и собака, запертые в одном мешке. Они царапаются, кусаются и норовят уничтожить друг друга.

Хартл отхлебнул остывшего чая из кружки, стоявшей на краю стола, поморщился и продолжил:

— Но если мы хотим создать единую волновую функцию

Вселенной — единую, чёрт возьми, функцию, которая опишет всё от кварка до квазара, — нам нужно отказаться от граничных условий. Их просто нет. Вы слышите, Стивен? Нет никакого «начала» в классическом смысле слова. Нет одного единственного прошлого, которое вытянутой струной ведёт к одному единственному настоящему. Есть только суперпозиция историй — бесконечное множество возможных путей. Каждый путь — целая вселенная, Стивен. Со своими законами, своей историей, своими собственными Хокингами и Хартлами, которые сейчас, в эту самую минуту, сидят в точно таких же кабинетах и спорят о том же самом. И все они одинаково реальны.

Хартл замолчал. Сигарета догорела почти до фильтра, и он затушил её в переполненной пепельнице, где окурки лежали в несколько слоёв, как геологические пласты.

— Вы серьёзно, Джеймс? — спросил Хокинг. В его голосе впервые прозвучало нечто большее, чем просто академическое любопытство. — Вы действительно верите в это?

— Я не верю. Я знаю. — Хартл понизил голос, как будто за стеной мог стоять кто-то, кому не следовало слышать их разговор. — Я нашёл способ обойти расходимость интеграла. Вот здесь.

Он развернул перед Хокингом лист, исписанный убо­ристым почерком. Формулы громоздились одна на дру­гую, перемежаясь короткими комментариями на англий­ском, немецком и — в одном месте — на латыни.

— Я ввожу регуляризацию через мнимую временную ко­ординату, — объяснял Хартл, водя пальцем по строкам. — Мы не суммируем напрямую — мы аналитически продол­жаем. Убираем сингулярности. Понимаете? Все эти прокля­тые бесконечности, которые ломали нам жизнь с самого рож­дения квантовой гравитации, — мы просто... обходим их. Как танкер обходит айсберг. И на выходе получаем конеч­ную функцию.

Хартл откинулся на спинку стула с видом фокусника, ко­торый только что достал кролика из шляпы. Его глаза бле­стели в полумраке кабинета — блестели тем особым, почти безумным блеском, который бывает у людей, заглянувших за край известного и увидевших там не пустоту, а нечто новое.

— Я назвал её «волновая функция Вселенной Хартла — Хокинга», — добавил он небрежно. — С вашего позволения, разумеется.

— Лесть вас не спасёт, — усмехнулся Хокинг. — Пока­зывайте ваши выкладки.

Хартл подвинул листы. Хокинг склонился над ними так низко, как только мог, пробегая глазами по строкам формул. В комнате слышалось только дыхание двух физиков да редкое потрескивание сигарет, которые Хартл — вопреки всем правилам пожарной безопасности — продолжал курить одну за другой.

Прошло четырнадцать минут. Никто из них не прервал молчания.

Наконец Хокинг поднял взгляд. В его глазах уже не было насмешки. Был холодный, трезвый, почти хищный интерес учёного, который видит то, чего не видел никто до него.

— Это может сработать, — произнёс он медленно, словно пробуя каждое слово на вкус. — Чёрт возьми, Джеймс. Это действительно может сработать. Если мы правильно выстроим математику и не ошибёмся с условиями связи на мнимой границе — у нас есть шанс написать работу, которую запомнят через сто лет.

— Через сто лет нас уже не будет.

— А работы останутся. — Хокинг покачал головой, и в этом жесте было что-то почти печальное. — Но предупре-

жду: физики нас возненавидят. Особенно те старые ослы из Принстона, которые до сих пор верят, что бог не играет в кости, несмотря на всё, что мы знаем о квантовой механике. Философы — тоже. Им не понравится, что мы отобрали у них монополию на «возможные миры». Это всегда было их территорией — все эти лейбницианские «возможные миры», картезианские гипотезы злого демона. А теперь приходят физики со своими интегралами и говорят: «Извините, господа, но это не философия. Это математика». Зато космологи...

— Космологи скажут нам спасибо, — закончил за него Хартл. — Или проклянут. В любом случае, я голоден как волк. И промёрз до костей. У вас есть что-нибудь в доме? Что-нибудь съедобное, а не эти ваши академические сэндвичи с огурцом.

— Сэндвичи в холодильнике. Чай на кухне. Вы знаете, где что.

— Я как-нибудь разберусь, — Хартл поднялся, хрустнув шеей. — Минута — и я вернусь. Не вздумайте украсть мою идею, пока меня нет.

Он усмехнулся собственной шутке и вышел. Дверь за ним закрылась.

Стивен остался один.

На столе горела лампа с зелёным абажуром — старая лампа, которую он привёз из Калифорнии много лет назад. Её свет падал на бумаги мягким жёлтым кругом, оставляя углы комнаты в плотном, почти осязаемом сумраке. За окном ветер раскачивал ветку старого клёна, и её тень металась по стене, как маятник в часовом механизме невидимого времени.

Хокинг смотрел на исписанные формулы — на эти каракули, которые вскоре должны были перевернуть представление человечества о реальности, и думал о бесконечности. О множестве миров, в которых он сейчас мог бы сидеть в этом же кабинете — или в другом городе, или с другой судьбой, или уже быть мёртвым.

Мысль была одновременно величественной и пугающей.

Он взял ручку и начал набрасывать первые строки для будущей статьи. Буквы ложились на бумагу неровно, но твёрдо — рука слушалась ещё хорошо, хотя годы уже давали о себе знать:

«В этой статье мы предлагаем подход к квантовой кос-

мологии, основанный на суммировании по замкнутым трёхмерным многообразиям. Основное допущение — отсутствие граничных условий во времени. Вселенная не имеет ни начала, ни конца в классическом смысле; она существует как суперпозиция всех возможных историй...»

Он не услышал щелчка. Но почувствовал.

Как будто воздух в комнате вдруг сгустился. Как перед грозой, только без запаха озона — с запахом озона? И ещё чего-то металлического, острого, как лезвие, только что вынутое из ножен. Возникла едва уловимая вибрация, почти на грани слышимости, будто где-то в стене гудел мощный трансформатор, работающий на пределе своих возможностей.

Ручка замерла в пальцах.

Хокинг поднял глаза.

В дальнем углу кабинета, прямо посередине между книжным шкафом (потрёпанные корешки «Nature» за двадцать лет, подшивки журналов, стопки оттисков статей, присланных коллегами со всего мира — из России, Японии, Австралии, Аргентины) и картой реликтового излучения, составленной ещё Пензиасом и Уилсоном в далёком 1965-м, стоял

человек.

Это была не дверь — дверь оставалась закрытой. Это был не фокус и не галлюцинация — Хокинг проверил: потолок не плыл, руки не дрожали, сознание было кристально ясным. Человек просто был там, хотя секунду назад его не было.

В комнате царила полная тишина. Часы с кукушкой молчали — они не работали уже три года. Вентиляция гнала тёплый воздух по трубам, но звук её был так привычен, что Хокинг перестал его замечать ещё в семидесятых. Теперь же он слышал всё. Каждое движение воздуха. Каждое биение собственного сердца.

Стивен Хокинг повидал много странного за свою жизнь. Он общался с астронавтами, которые видели Землю с орбиты и начинали верить в Бога. Он беседовал с нобелевскими лауреатами, чьи идеи переворачивали физику с ног на голову. Он принимал парапсихологов, утверждавших, что мысль материальна, и шарлатанов, продававших «энергетические браслеты» от всех болезней. Но такого — никогда.

Незнакомец был одет в чёрную, совершенно неприметную одежду: куртка из плотной, незнакомой ткани — ни сукно, ни кожа, ни синтетика, что-то новое, невесомое и при этом прочное на вид, без единой складки, без ворсинок, без пя-

тен. Брюки того же чёрного цвета, тоже безупречно ровные. Ботинки без шнурков, с какими-то странными магнитными пряжками, тускло поблескивающими в свете лампы. В правой руке — тонкий цилиндр, похожий на дорогую авторучку: платиновый корпус, тонкое сопло на конце, никаких кнопок или переключателей. Левая рука висела свободно, чуть согнутая в локте.

Лицо — обычное, даже заурядное. Лет тридцать пять — сорок. Короткие тёмные волосы, зачёсанные назад. Высокий лоб, прямой нос, тонкие губы, чисто выбритый подбородок. Ничего особенного. Такое лицо теряется в любой толпе — от московского метро до лондонского банка, от нью-йоркского аэропорта до токийского вокзала.

Кроме глаз.

Глаза у незнакомца были... пустыми.

Нет, не злыми. Не безумными. Не страшными. Пустыми. Как у человека, который видел уже всё, что можно увидеть, и которого ничем не удивить. Как у хирурга, который после двух тысяч операций перестаёт воспринимать пациентов как людей — только как системы органов, только как задачи, только как набор решаемых или нерешаемых проблем. Как у палача на трёхсотой казни. Как у священника, который

отпел слишком много мёртвых детей и утратил способность сострадать.

Хокинг почувствовал холод. Не сквозняк — тот, другой, внутренний. Тот, который поднимается из позвоночника, когда встречаешься с чем-то, что не должно существовать, но существует. С чем-то, что заставляет мозг лихорадочно перебирать варианты, отбрасывая один за другим как невозможные, и в конце концов упирается в пустоту.

— Профессор Хокинг, — сказал гость.

Голос — низкий, без акцента, без эмоций. Как у диктора программы новостей, который уже прочитал тысячу выпусков и перестал вкладывать в слова какой-либо смысл. Как у робота, который научился говорить, но так и не научился чувствовать. И в то же время — странное, почти гипнотическое спокойствие.

— Пожалуйста, не бойтесь. Я не причиню вам вреда. И не пытайтесь звать на помощь — это бесполезно. Мы находимся в микро-паузе. Сейчас примерно 0,003 секунды между двумя нейронными импульсами вашего слухового нерва. Для внешнего мира не прошло ничего. Ваш коллега Джеймс не услышит ничего, кроме того, что уже слышал — ваше дыхание и свою сигарету. Он войдёт через минуту по своей

шкале времени, и для него не произойдёт ровно ничего.

Хокинг смотрел не отрываясь. Его пальцы — те самые пальцы, которые за несколько минут до этого выводили на бумаге уравнения, — лежали на столе неподвижно.

— Кто вы? — спросил он. Голос прозвучал на удивление твёрдо, хотя внутри всё сжалось.

— Меня называют Стирателем. Это не имя — это должность. Профессия. Квалификация. В моём служебном удостоверении написано «Оператор хроно-коррекции первого ранга, группа специальных операций», но в просторечии — на сленге, среди своих — мы Стиратели. Многие нас так называют. Некоторые — «уборщиками», но это уже пренебрежительно, почти оскорбительно. Как хотите, так и называйте.

Гость чуть склонил голову набок, как будто изучал Хокинга в ответ, и в этом движении было что-то неуловимо чужеродное — как если бы он не был до конца привычен к своему собственному телу.

— Я прибыл из другого времени, — продолжил Стиратель. — Точнее — из другой временной ветки. Очень похожей на вашу. Но не идентичной. Ваша ветка имеет кодовое

обозначение «Б-9». Моя — «В-137».

— Другой временной ветки? — Хокинг кивнул в сторону листов с формулами, которые только что обсуждал с Хартлом. — Это связано с нашей работой? С тем, что мы сейчас обсуждали с Хартлом?

— Связано напрямую. Именно поэтому я здесь, — Стиратель сделал шаг вперёд, и Хокинг заметил странную деталь: незнакомец не оставлял следов на ковре. Ни складок, ни вмятин. Как будто его ноги касались ворса, но не давили на него. Как будто весил не больше листа бумаги. Как будто гравитация для него была не более чем навязчивой идеей, которую можно игнорировать.

Он сел на стул — обычный деревянный стул, купленный в ИКЕА за девятнадцать фунтов, с прямыми ножками и деревянной спинкой. Стул не скрипнул. Вообще. Даже на миллиметр не прогнулись ножки, хотя вес взрослого мужчины должен был заставить их прогнуться. Как будто незнакомец сел, но его вес не передался стулу. Хокинг моргнул, пытаясь убедиться, что глаза его не обманывают.

— Профессор, — продолжал Стиратель, не замечая — или делая вид, что не замечает, — изумления хозяина кабинета, — то, что вы и Хартл называете «суммой по историям» — это не абстрактная математическая игра. Это точное

описание физической реальности. Вселенная действительно существует в бесконечном множестве состояний. Каждое квантовое событие — каждый выбор электрона, куда повернуть спин; каждой молекулы, куда диффундировать; каждой клетки, как делиться; каждого фотона, поглотиться или отразиться, — порождает новые ветви. И все эти ветви реальны. Физически. Математически. Ваша работа, которую вы опубликуете в следующем году, станет краеугольным камнем хроно-физики. Вы не открываете новую теорию. Вы описываете то, что уже существует, — быть может, всегда существовало, задолго до того, как люди научились записывать уравнения.

— Вы хотите сказать, что все эти «возможные миры» — настоящие? — перебил его Хокинг. Вопрос вырвался сам собой — не как учёный задаёт вопрос коллеге, а как человек задаёт вопрос тому, кто видит больше, чем он. — Что где-то существует версия меня, которая... которая живёт другой жизнью?

Стиратель кивнул. В его глазах на секунду — только на секунду — мелькнуло что-то похожее на усталость. Или на сожаление.

— И не одна. Их бесконечное множество. В одном из миров вы сейчас читаете лекцию в Принстоне, стоите у доски и пишете мелом уравнения — ваши руки не дрожат, ва-

ши мышцы слушаются вас безупречно. В другом — пишите научно-популярную книгу, которая станет бестселлером, и вас приглашают на «Вечернее шоу» с Джонни Карсоном. В третьем — вы... — он запнулся впервые за весь разговор, как будто подбирал слова, — вы умерли десять лет назад от осложнений после болезни, и вашу работу по чёрным дырам закончил ваш аспирант. А есть и другие. Много других. В одном из миров вы не физик, а биолог, изучающий механизмы старения. В другом — писатель-фантаст, причём довольно посредственный, если верить отзывам в интернете. В третьем — сантехник в Ливерпуле, и вы счастливы, как ни в каком другом мире. И все эти версии — вы. Не копии, не симуляции, не философские зомби. Вы. Каждая по-своему реальна.

Хокинг молчал. Внутри его что-то дрогнуло — может быть, привычная картина мира, которую он выстраивал десятилетиями, дала первую трещину. Он смотрел на свои руки, лежащие на столе, и думал о том, что где-то в бесконечности миров эти руки пишут формулы, не зная усталости. Где-то — держат книгу, которую никто не читает. Где-то — затягивают гайку на прохудившейся трубе.

— Зачем вы пришли? — спросил Хокинг, возвращая себе самообладание. — Если все эти миры реальны — какое вам дело до нашего? Почему вы здесь, в моём кабинете, глубокой

ночью, когда Хартл на кухне греет чай? Зачем это всё?

Стиратель выдержал паузу. Его пустые глаза вдруг на мгновение стали... нет, не живыми. Но глубокими. Как чёрные дыры, о которых Хокинг написал столько формул. В них не было света, но была бездна. И в этой бездне Хокингу помешалось что-то похожее на печаль.

— В вашей ветке, профессор, и в тысячах похожих на неё — идёт война. Не та война, которую вы знаете. Не Первая мировая, не Вторая, не холодная, не горячая, не гибридная, не информационная. Другая. Война со временем. Война с самой тканью реальности. И в этой войне есть только одно оружие, которое действительно работает. Оно у меня в руке.

Он поднял свою «ручку». В тусклом свете настольной лампы — старой лампы с зелёным абажуром, которую Хокинг привёз из Калифорнии ещё в те времена, когда молодость казалась вечной, — металлический корпус блеснул холодной синевой. Глубокой, насыщенной синевой, как у ночного неба в горах. Как будто внутри горел маленький, но очень злой огонь, которому не нужен кислород, не нужно топливо, не нужно ничего — только цель.

— Это устройство. Официальное название — «нейтрализатор квантовой когерентности биологических систем». Се-

рийная модель НКБ-4, выпуск 2176 года, третья модификация. В просторечии — «Стиратель», «ноль-ноль», «хлопок», «молекулярка», «ластик» и ещё с десятков сленговых названий, которые варьируются в зависимости от того, в какой временной ветке вы находитесь и какой там принят жаргон.

Он повертел «ручку» в пальцах, и Хокинг заметил, что движений незнакомца не сопровождает ни малейшего звука — ни шелеста ткани, ни скрипа суставов, ни дыхания. Гость вообще, кажется, не дышал — по крайней мере, Хокинг не мог уловить движения его грудной клетки.

— Дальность эффективного действия — до пяти километров, — продолжал Стиратель. — Принцип — квантовая декогеренция органической материи на молекулярном уровне. Полное, мгновенное, безболезненное — если можно так назвать то, что происходит — разложение на молекулы. Не на атомы — на молекулы. Химические связи рвутся одновременно по всей системе, и органика просто... рассыпается. Без следов. Без шума. Никакой баллистики, никаких отпечатков, никаких тканей, никаких ДНК, никаких останков, никаких газов, которые можно было бы обнаружить газовым анализатором. Цель просто перестаёт быть. Не умирает — исчезает. Из всех веток реальности одновременно. Каждый раз, когда я нажимаю на спуск, я удаляю цель не только из вашей временной линии, но и из всех параллельных, где она

существует. Полное, абсолютное небытие. Даже имени в архивах не остаётся. Даже упоминания в документах.

Пальцы Хокинга дрожали — он не мог этого контролировать. Он не набирал текст, не писал — он просто сидел, раскрыв рот, глядя на незнакомца широко открытыми глазами. В комнате было слышно, как где-то далеко завывает ночной ветер, как в трубах стучит отопление, как сердце колотится где-то в груди, отказываясь верить в то, что видят глаза.

— Не бойтесь, — повторил Стиратель, и в его голосе впервые — кажется, впервые — проскользнуло что-то похожее на человеческую интонацию. Что-то мягкое, почти успокаивающее. — Я не за вами. Я приходил за другим.

Он перевёл взгляд на окно, за которым серела ноябрьская темень Кембриджа. Фонари на улице горели тускло — экономили электроэнергию, как и везде в восьмидесятые. Ветер нёс по асфальту сухие листья, и их шорох был едва слышен через двойные рамы.

Он снова повернулся к Хокингу. В его глазах теперь не было пустоты — была только тьма.

— Моя ветка, профессор, называется «В-137». Знаете, чем она отличается от вашей? В ней Советский Союз не рас-

пался в 1991 году. Михаил Горбачёв был убит в 1989-м — не нами, естественно, у нас тогда ещё не было таких полномочий, мы не работали в этом секторе истории — историческая случайность, стечение обстоятельств, неудачное стечение вероятностей. И теперь Союз правит миром.

Хокинг сглотнул. Горло пересохло, как в пустыне, хотя в комнате было прохладно и влажно.

— И вы... этого ... "другого" ... только что... уничтожили? — спросил он.

Стиратель ответил не сразу. Он смотрел куда-то мимо Хокинга, сквозь него, сквозь стену, сквозь время. Потом медленно, очень медленно, кивнул.

— Только что. Задание выполнено. Я пришёл к вам после работы. Есть правило — неписаное, но железное: после каждого стирания оператор обязан посетить кого-то, кто напомнит ему, зачем всё это. Кого-то, кто вернёт смысл. Потому что если этого не делать — если не возвращаться к людям, к живым, к тем, кто дышит, думает, чувствует, — можно очень быстро забыть, ради чего мы всё это делаем. Можно превратиться в машину. В работа. В такой же бездушный механизм, как наши цели, только с другой стороны.

— Я выбрал вас, профессор. Потому что именно ваши уравнения — те самые, которые вы обсуждали с Хартлом, те самые, которые вы сейчас записываете на этом листе, — сделали возможным само существование Бюро. Вы — отец всей этой технологии, даже если не знаете об этом. Даже если никогда не узнаете.

Он помолчал. В тишине было слышно, как где-то за стеной — или, может быть, в другой вселенной — Хартл гремит посудой на кухне, ища, куда налить кипятка.

— Кого вы стёрли? — спросил Хокинг. Вопрос прозвучал глухо, как будто земля разверзлась под ногами. — Скажите мне. Назовите имя.

— Вы не поверите, — Стиратель достал из нагрудного кармана маленький прямоугольник — размером с кредитную карту, но светящийся мягким, приглушённым светом. Нажал на уголок. Прямоугольник развернулся в тонкий, почти невесомый экран, какой не смогли бы изготовить самые передовые лаборатории 1983 года.

На экране появилась фотография.

Молодой человек. Лет двадцать — двадцать два. Коренастый, мощного телосложения, с короткой сильной шеей и

тёмными, чуть вьющимися волосами. Около ста восьмидесяти сантиметров роста. Взгляд тяжёлый, исподлобья — как у человека, который привык, что мир ему противостоит, и готов ответить ударом на удар. Ничего примечательного на первый взгляд — обычный немецкий парень, из тех, что работают на земле, из тех, что составляют основу любой армии, любой экономики, любой диктатуры. Не герой, не злодей — функционер. Но в глазах уже угадывается что-то неуловимое. Что-то, что через годы превратится в безжалостность. В холодную бюрократическую жестокость. В способность подписывать приказы о смерти миллионов, не моргнув глазом.

— Его звали Мартин Борман, — сказал Стиратель. — Ему было двадцать лет. Он родился 17 июня 1900 года в городе Хальберштадт, в семье почтового служащего Теодора Бормана. Когда Мартину было четыре года, отец умер, и мать — Антония Бернгардина Менонг — быстро вышла замуж за директора небольшого банка. Отчим был человеком состоятельным, но не жестоким; Мартин не знал ни голода, ни унижений. Он учился в реальном училище, не проявляя особых способностей — середняк, крепкий середняк, каких тысячи.

Стиратель перелистнул экран. Появились другие фотографии: Борман в военной форме, Борман среди сослуживцев, Борман на фоне артиллерийского орудия.

— В 1918 году, сразу как исполнилось восемнадцать, он отправился на фронт — последний год Первой мировой. Служил в 55-м полку полевой артиллерии. Пороху понюхал, хотя до настоящих боёв дело не дошло — война кончилась раньше, чем он успел увидеть врага в прицел. Не получил ни одного ранения, ни одной награды — Гитлер к тому времени уже успел заработать Железный крест, а Борман вернулся домой таким же, каким ушёл: с пустыми руками и с тяжёлым взглядом.

Хокинг смотрел на экран, не отрываясь. Молодое лицо с экрана смотрело на него — ещё не злое, ещё не жестокое, ещё не ставшее тем, чем должно было стать. Просто лицо. Просто человек.

— В феврале 1919 года он демобилизовался, — продолжал Стиратель. — И поступил на курсы сельскохозяйственных специалистов. Учился без блеска, но старательно — как будто уже тогда знал, что умение подчиняться и исполнять — главный талант, который ему пригодится в жизни. Курсы окончил в 1920 году. И сразу же был нанят в качестве управляющего частным поместьем в Мекленбурге.

Стиратель снова пролистал экран. Теперь на нём были документы — письма, протоколы, какие-то официальные бумаги на немецком языке, напечатанные готическим шриф-

ТОМ.

— Поместье принадлежало семейству фон Троенфельс. Располагалось недалеко от деревни Пархим, в северной земле Мекленбург. Обычная работа для молодого человека, который не закончил университета, не получил специального образования, не имеет связей и протекции. Ничего не предвещало. Ничто не указывало на то, что этот коренастый, молчаливый парень с короткой шеей, за которую его позже прозовут «Буйволом», станет одним из главных преступников двадцатого века той Истории. Постольку поскольку двадцатый век вообще можно измерять в преступлениях.

Хокинг перевёл взгляд с экрана на лицо Стирателя.

— И вы... аннулировали его? — спросил он. Голос его звучал тихо, почти шёпотом.

— Да.

— Когда?

— Два часа назад. По местному времени — август 1920 года, Мекленбург, поместье фон Троенфельс. Он только что закончил обход полей и вернулся в свою комнату. Двадцать лет — идеальный возраст. Достаточно взрослый, чтобы мож-

но было оценить последствия его существования. Достаточно молодой, чтобы его исчезновение не нарушило ткань истории. Достаточно... чистый, если можно так выразиться. Пока не совершил ничего непоправимого. Пока ещё можно сделать вид, что его никогда не существовало.

— Но как... — Хокинг запнулся. — Как вы узнали? Откуда вы знаете, что он должен был сделать?

Стиратель посмотрел на него долгим взглядом. В его глазах не было пустоты — там было знание. Тяжёлое, неподъёмное знание, которое он носил в себе, как каторжник носит кандалы.

— Мы знаем будущее, профессор. Не всё — история слишком сложна и ветвится в каждой точке, как крона древнего дуба. Мы знаем достаточно. У нас есть архивы. Базы данных. Хронологии событий. Имена, даты, места. В моей временной ветке, где Советский Союз не распался, историки и хронографы потратили девяносто лет на то, чтобы составить полную картину. Кто, когда, кому, зачем. Каждый шаг. Каждое решение. И поверьте мне — картина эта не для слабонервных.

Он убрал экран обратно в карман и встал. Стул под ним — ни звука, ни движения.

— Мартин Борман не стрелял лично. Он не стоял у печи Освенцима — это делал подчинённый его друга Рудольфа Хёсса, с которым он познакомится через три года. Но именно Борман станет тем, кто организует машину уничтожения. Он создал систему, в которой убийство превратилось в бумажную работу. В отчёты, в сводки, в приказы, в статистику. В 1941 году он стал главой Партийной канцелярии Третьего рейха, рейхсминистром без портфеля, а потом — личным секретарём Гитлера, «коричневым кардиналом», тенью фюрера. Он запретил готический шрифт, потому что какой-то антиквар сообщит ему, что его придумали евреи. Он управлял финансами Гитлера — миллионами марок, добытых неизвестно как. Он уже никогда не будет спорить — он исполнял. Он никогда не будет сомневаться — он будет подчиняться. И под его руководством, с его молчаливого согласия, по его витиеватым приказам были бы убиты миллионы. Евреи, славяне, цыгане, гомосексуалы, коммунисты, свидетели Иеговы, просто неудобные. Шесть миллионов только евреев. Двадцать семь миллионов советских граждан. И это не считая других.

— И вы только что... аннулировали его? — повторил Хокинг. Вопрос прозвучал как эхо.

— Я стёр его из времени, — Стиратель сделал ударение

на последнем слове, как будто это должно было что-то значить. — Ветки реальностей, профессор, уже не знают Мартина Бормана. Ни в двадцать лет, ни в пятьдесят. Нигде. Ни в каких архивах, ни в каких мемуарах, ни в каких исторических трудах. Он никогда не будет назначен главой Партийной канцелярии. Никогда не будет стоять рядом с Гитлером. Никогда не отдаст приказ о запрете готического шрифта — и сотен других приказов, каждый из которых стоил кому-то жизни. Никогда не будет заочно осуждён в Нюрнберге — приговор, который он так и не узнал, потому что исчез в мае 1945 года, растворился в берлинском аду, как лед в кипятке. Никогда не будет предметом многолетних охот, поисков, теорий заговора. Просто никогда.

Он замолчал. В комнате повисла тишина.

— Сорок восьмой, — тихо добавил он. — За четыре года службы. Сорок восемь человек, которые должны были убить миллионы. Десятки миллионов. Сорок восемь целей. Сорок восемь выстрелов. Сорок восемь имён, которые больше никогда не будут упомянуты ни в одном документе. Никто не вспомнит. Никто не пожалеет. Никто, кроме нас.

Хокинг молчал долго. Очень долго. Внутри него что-то боролось — учёный, который привык проверять гипотезы экспериментами; человек, который верил в логику и доказа-

тельства; христианин, который если и не ходил в церковь, то в Бога верил, по-своему, негромко, без позы. И все эти три сущности требовали от него ответа, а ответа не было.

— Сорок восемь человек, — наконец сказал он. — Вы не боитесь ада? Или бога?

Вопрос прозвучал почти наивно, почти по-детски. Но в нём была вся тяжесть человеческой морали, которую тысячелетиями пытались упаковать в заповеди, в законы, в кодексы. И которая всегда ускользала, как ртуть между пальцами.

— В моей ветке бог умер, — ответил Стиратель. Голос его был ровным, как сталь, и таким же холодным. — Не в метафорическом смысле, как у Ницше. В прямом. Я был там, профессор. Я видел, как гибнут дети в концлагерях, потому что какие-то люди решили, что они — не люди. Я видел, как матери заживо закапывают своих детей, чтобы спасти их от газовых камер. Я видел глаза стариков, которые поняли, что бог их покинул — или никогда не существовал. Я видел тьму. И в этой тьме не было места для надежды, не было места для молитвы, не было места для прощения. В моей ветке, профессор, бог умер в 1945 году. Или, может быть, он умер раньше — просто мы не заметили. А может быть, его никогда и не было. Осталась только история. И её можно лечить.

Как рак. Хирургическим путём.

— Вы не боитесь ошибиться? — спросил Хокинг. — Вы не боитесь, что завтра вы узнаете, что стёрли не того? Что вместо монстра вы уничтожили святого? Что ваши архивы врут, что ваши хронографы ошибаются?

Стиратель снова сел. И снова стул под ним не издал ни звука.

— Мы проверяем, профессор. Перед каждым заданием — не перед самим заданием, перед тем, как нас допускают к оружию — мы проходим полную проверку. Мы смотрим досье. Мы смотрим доказательства. Мы видим лица тех, кто погиб бы, если бы мы не сделали свою работу. Каждое задание — это сотни, тысячи, десятки тысяч фотографий. Детей, стариков, беременных женщин, солдат, крестьян, учителей, священников, врачей. Всех, кого убьёт наша цель, если мы не вмешаемся.

Он выдержал паузу. Его голос, прежде равнодушный, сейчас звучал тяжело — как будто каждое слово давалось ему с трудом.

— И у нас есть право отказаться. Любой оператор может отказаться от задания, если считает, что досье сфабри-

ковано, если чувствует, что его обманывают, если в его душе осталось хоть что-то, что противится убийству. Отказ проверяется комиссией. Необоснованный отказ... это случается редко. Очень редко. Обычно, когда оператор видит фотографии, когда смотрит в глаза тех, кого он может спасти, — сомнения исчезают.

— И у вас никогда не было сомнений? — спросил Хокинг.

Стиратель посмотрел ему прямо в глаза. И Хокинг увидел — впервые за весь разговор — в этих пустых глазах что-то человеческое.

— Были, — сказал он. — Всегда. Каждый раз. Каждую секунду, пока я смотрю на цель и нажимаю на спуск. Сомнения — это единственное, что отличает нас от них. Если бы мы перестали сомневаться — мы стали бы такими же чудовищами, как те, кого стираем. Но мы продолжаем. Мы сомневаемся, мы мучаемся, мы не спим ночами, мы пьём слишком много, мы теряем браки, мы сходим с ума — кто раньше, кто позже, но все. И всё равно продолжаем. Потому что если не мы — то кто?

— И так будет всегда?

— Не знаю. Но пока что — да. Пока есть комитеты, бю-

ро, приказы, цели — будут и Стиратели. Будут и те, кто нажимает на спуск. И будут те, кто сомневается. И те, кто не выдерживает.

Он встал. В этот раз стул под ним чуть скрипнул — может быть, Хокингу показалось, а может быть, гость устал настолько, что перестал контролировать детали.

— Зачем вы мне всё это рассказываете? — спросил Хокинг. — Я не могу ни остановить вас, ни помочь. Я даже не уверен, что не сплю. Я — физик, а не полицейский. Я — профессор, а не судья. Я — тот, кто пишет уравнения, а не тот, кто выносит приговоры. Что я могу сделать?

— Затем, профессор, что когда вы и Хартл опубликуете вашу работу — а вы опубликуете её в декабре 1983 года, я знаю, я читал её в архиве Академии, — я прошу вас добавить в конец одну фразу. Не для меня. Для тех, кто прочитает её через сто лет. Для тех, кто забудет, что будущее — это не рельсы, по которым неумолимо катится поезд. Будущее — это лес тропинок, и каждую минуту вы выбираете, куда пойти. И выбор этот — ваш. Только ваш. Никто не сделает его за вас.

— Какую фразу?

— «Истина о множественности миров — это не свобода. Это ответственность. Будущее не предопределено».

Хокинг взял ручку и записал эти слова на полях своих расчётов. Буквы получились крупными, почти детскими — рука дрожала.

— А если я не добавлю?

— Добавьте. Вы уже добавили. Я видел вашу статью. В моей ветке — та же фраза, те же слова. Вы написали их ровно через год после нашего разговора, когда статья уже была сверстана и отправлена в типографию. Редактор *Physical Review D* пытался возражать — слишком философски, слишком лирично для научной работы, — но вы настояли. И фраза осталась. Я просто пришёл сказать вам спасибо заранее.

Стиратель поднёс нейтрализатор к виску. Секунда — и вокруг его головы возникло бледное, почти невидимое голубое свечение. Как корона. Как ореол. Как разряд статического электричества, только в тысячу раз красивее.

— Подождите, — остановил его Хокинг. — У вас есть имя? Настоящее. Не Стиратель. Не оператор. Не должность. Что у вас было до того, как вы стали... этим?

Человек в чёрном замер. Его рука с «ручкой» опустилась. На секунду — только на секунду — его пустые глаза сфокусировались на чём-то далёком, что видел только он. И в этом взгляде было столько боли, столько утраты, что Хокингу стало не по себе.

— Было, — сказал он тихо, почти шёпотом. — Имя, семья, город, страна — всё было. В другой ветке. В той, которую я стёр. Вместе с женой и дочерью. Теперь я — только инструмент. Один из многих. У нас нет имён. У нас есть только задания.

Щелчок.

Гул.

Воздух втянулся в ту точку, где только что стоял человек, — и захлопнулся, как дверь вакуумной камеры, с тихим, почти музыкальным «бом», похожим на звон колокольчика где-то в другой галактике.

В коридоре послышались шаги Хартла. Тяжёлые, уверенные — с кухни неслись две дымящиеся чашки чая и тарелка с сэндвичами, которые, наверное, уже остыли.

— Стивен! — крикнул Хартл из коридора. — У вас тут всё в порядке? Я слышал какой-то странный звук. Как будто конденсатор разрядился. Или холодильник взорвался. Или у вас кто-то есть.

Хокинг медленно повернулся к столу. Перед ним лежал чистый лист бумаги — тот самый, на котором он только что писал.

Только слов на полях больше не было.

Они исчезли.

Как будто их никогда и не существовало.

— Ничего, Джеймс, — сказал он. Голос дрожал — он не мог этого скрыть. — Мне показалось. Слишком много работы на ночь глядя. Давайте лучше поедим, а потом — спать. Завтра нам предстоит написать работу, которая изменит мир. Или, может быть, миры.

Дверь открылась. Хартл вошёл с двумя дымящимися чашками, поставил одну на стол Хокинга, вторую — рядом с собой. Сэндвичи — с огурцом, как и предполагалось — лежали на тарелке.

— Выглядите так, будто привидение видели, — заметил Хартл, жуя. — Бледный как мел. Даже для вас. Вам бы к врачу сходить, Стивен. Не шучу.

— Я видел кое-что пострашнее привидения, — ответил Хокинг. — Я видел человека, который может переписать историю, нажимая на кнопку. И я не знаю, верю ли я в его существование.

— Бросьте, Стивен. Это просто усталость. Завтра всё пройдёт.

Хокинг ничего не ответил. Он смотрел на чистый лист бумаги, на котором минуту назад были написаны слова. Смотрел так, будто надеялся увидеть их снова.

Но они не возвращались.

Всю ночь Хокинг не спал. Он смотрел в потолок, слушал, как вентиляция гудит, и думал. О Мартине Бормане, которого стёрли в двадцать лет. О бесконечных мирах, в которых он жил, умирал, любил, ненавидел, был счастлив, был несчастен. О человеке без имени, который пришёл к нему из будущего и исчез. И о своей собственной ответственности за всё это.

Под утро он сел за стол и написал на новом листе:

«16 ноября 1983 года. Ко мне приходил человек из будущего. Он сказал, что стирает людей из времени. Я не знаю, верить ли этому. Но я проверил одну вещь: в архивах Кембриджа нет никакого Дитера Фогеля, чьё имя он назвал. Никогда не было. Я просмотрел списки студентов, аспирантов, сотрудников с 1980 по 1990 год. Ни одного упоминания. Возможно, это галлюцинация. Возможно, нет. Но фразу я обещал добавить — и добавлю. Сара Коннор была права: будущее не предопределено. И это самое страшное, что мы когда-либо открыли».

Он сложил листок, запечатал в конверт и написал на конверте: «Вскрыть после моей смерти».

Потом добавил ещё одну строчку внизу — мелко, почти неразборчиво:

«Простите меня. Я не знаю, за что именно. Но простите».

А утром, когда Хартл уже ушёл в гостиницу, а Кембридж просыпался под холодным серым небом, Стивен Хокинг открыл новый файл и написал четыре слова, которые никто никогда не увидит при его жизни:

«Они уже здесь. Они стирают».

И добавил, помедлив:

«Будущее не предопределено. Это правда. И это ужасно».

Заметку нашли после его смерти в 2018 году. Положили в архив. Никто не придавал ей значения.

Зря.

Глава 2

СТИРАТЕЛЬ

Будущее не предопределено

Штаб-квартира Бюро хроно-коррекции, временная ветка
«В-137»

17 ноября 1983 года, 07:23 по местному времени

Стиратель стоял перед дверью, за которой начиналось задание.

Дверь была белой. Абсолютно белой — ни ручки, ни таблички, ни намёка на то, что за ней находится. Такие же белые стены тянулись вдоль всего коридора, уходя в бесконечность, но Стиратель знал: за три шага до поворота стены становятся серыми, а ещё через пять — тёмно-синими. Он ходил здесь тысячу раз. Сорок девять раз перед заданием.

Сегодня будет сорок девятый.

Он не чувствовал ни страха, ни волнения, ни предвкушения. Эти чувства умерли в нём давно — где-то между десятой и двадцатой миссией, когда он перестал считать лица и

начал считать только цифры. Сорок девять целей. Сорок девять выстрелов. Сорок девять имён, стёртых из всех веток реальности.

Но сегодняшнее имя не было похоже на другие.

Стиратель открыл дверь.

Кабинет предзадачной подготовки встретил его привычным полумраком. Комната была размером не больше монашеской кельи — ровно такой, чтобы вместить стол, стул и огромный голографический экран, занимавший всю противоположную стену. Экран пока был пуст.

— Идентификация, — произнёс Стиратель, садясь в кресло.

С потолка опустился тонкий луч и скользнул по его сетчатке, зрачку, радужке. Три секунды молчания.

— Оператор первого ранга, хроно-корректор седьмого класса, — отозвался равнодушный женский голос. — Доступ разрешён. Досье готово к просмотру.

— Включай.

Экран ожил.

Сначала появилась только одна надпись, написанная готическим шрифтом, который Стиратель научился читать ещё в детстве — в той жизни, до того как стал Стирателем.

«Йозеф Рудольф Менгеле. 16 марта 1911 года рождения. Город Гюнцбург, Баварское королевство, Германская империя».

Затем — фотография.

Молодой человек, лет двадцати восьми. Коротко стриженные тёмные волосы, высокий лоб, прямой нос, тонкие губы, сложенные в чуть надменную улыбку. На нём — тёмный костюм, белая рубашка, галстук. На вид — заурядный немецкий бюргер, каких тысячи на улицах Мюнхена или Франкфурта. Привлекательный даже: правильные черты лица, гладко выбритый подбородок, ясный взгляд.

Но Стиратель смотрел не на лицо.

Он смотрел в глаза.

Глаза на фотографии были живыми. Очень живыми — слишком живыми для человека, который ещё не совершил

ничего, кроме, может быть, того, что написал две блестящие диссертации и женился на дочери состоятельных родителей. В них ещё не было жестокости — она придёт позже, через четыре года, когда он войдёт в ворота Освенцима в белом халате и с безупречной причёской. Через три года — когда он встанет на путях и начнёт указывать пальцем: «направо — жизнь, налево — смерть».

Но рефлексы будущей жестокости уже просвечивали в его взгляде. Та неуловимая, почти звериная уверенность в собственном праве распоряжаться чужими жизнями, которая формируется в человеке не в момент, когда ему дают власть, а задолго до этого, когда он только учится считать себя высшим существом.

— Включи досье, — сказал Стиратель.

Голос прозвучал глухо. Или, может быть, это эхо ударило от голых стен.

Экран моргнул — и фотографию сменили строки текста. Он потекли сверху вниз плотным, немигающим потоком, как вода из прорванной плотины.

«Йозеф Менгеле — старший сын в семье Карла Менгеле и Вальбурги Хупфауэр. Отец — основатель компании

«Карл Менгеле и сыновья», производившей сельскохозяйственное оборудование. Семья принадлежала к состоятельной промышленной буржуазии Баварии».

Стиратель читал быстро — за четыре года службы он научился выхватывать из потока информации главное, не тратя время на то, что не пригодится на задании.

«Воспитывался в строгой католической традиции».

Строки плыли дальше.

«В 1930 году поступил в Мюнхенский университет, где изучал медицину, а затем и антропологию. В 1931 году присоединился к организации «Стальной шлем» — националистическому союзу фронтовиков».

Двадцатый год — присоединился к первым националистам. Ещё не партия, ещё не СС, но уже первый шаг по дороге, которая приведёт его на перрон Аушвица. В двадцать лет — романтический национализм, мечты о величии Германии, отряды ветеранов в стальных касках, марширующие по улицам Мюнхена.

«В 1934 году, после того как «Стальной шлем» был включён в структуру СА, Менгеле вышел из организации по со-

стоянию здоровья».

Враки. Стиратель знал это — досье никогда не врало, но иногда сквозила в таких формулировках дипломатичность, которая раздражала его. Не по состоянию здоровья — по гордости. Менгеле никогда не был штурмовиком по духу. СА были слишком грубыми, слишком примитивными для его амбиций. Он ждал чего-то большего. И дождался.

«В 1935 году защитил докторскую диссертацию по антропологии в Мюнхенском университете. Тема: «Расово-морфологическое исследование переднего отдела нижней челюсти у четырёх расовых групп»».

Стиратель на мгновение задержал взгляд на этой строке. Он помнил эту диссертацию — в архиве Бюро хранился её полный текст на немецком языке, с готическим шрифтом и аккуратными схемами челюстей. Менгеле измерял черепа. Тысячи черепов. Египетских мумий, меланезийских аборигенов, европейцев разных типов. В каждом срезе кости, в каждом миллиметре челюсти он искал доказательства расового превосходства.

И находил.

Конечно, находил — когда ищешь, всегда найдёшь. Даже

если для этого нужно подтасовать данные или проигнорировать те, что не вписываются в теорию.

«В 1936 году сдал медицинский государственный экзамен».

Четыре месяца интернатуры в детской клинике Лейпцига. Стиратель представил его — молодого доктора Менгеле, склоняющегося над больными детьми, слушающего их жалобы, выписывающего лекарства. Четыре месяца он был просто врачом. Каким он был в эти месяцы — добрым? Внимательным? Безразличным? Досье не говорило об этом.

Но Стиратель знал, что через несколько лет этот же человек будет стоять у печей и лично отправлять детей в газовые камеры.

Врач, который лечил детей в Лейпциге.

И палач, который убивал их в Освенциме.

«В 1937 году получил должность ассистента в Институте наследственной биологии и расовой гигиены Франкфуртского университета. Институт возглавлял профессор Отмар фон Фершёр».

Стиратель чуть дольше задержался на этом имени. Фершёр. Ментор. Учитель. Тот, кто привил Менгеле любовь к близнецам и веру в то, что человеческие существа — всего лишь материал для расовых экспериментов. Тот, кто через несколько лет, уже во время войны, будет получать от Менгеле из Освенцима ящики с глазами, черепами, срезами кожи и кровью замученных детей. И не просто получит — напишет научные статьи на основе этих материалов, ни разу не упомянув, откуда они взялись.

— Прокрутить биографию, — сказал Стиратель.

Экран ускорил поток. Строки мелькали быстрее.

«1937 год — вступление в НСДАП. 1938 год — вступление в СС. Защита второй докторской диссертации по медицине под руководством Фершёра. Тема: «Родословные исследования при расщелинах губы, челюсти и нёба»».

Родословные исследования. Звучит почти невинно, правда? Как будто какой-то добрый профессор изучает наследственные болезни, чтобы помочь детям. Но Стиратель знал, что стояло за этими исследованиями.

«В 1938 году Менгеле становится постоянным ассистентом Института Фершёра».

«28 июля 1939 года женится на Ирене Шёнбайн, дочери состоятельного промышленника».

Свадьба в Оберстдорфе. Белое платье. Гости. Улыбки. Молодожёны смотрят друг на друга с надеждой.

Через два года у них родится сын. Рольф. Ребёнок, которого отец почти не увидит — сначала война, потом бегство, потом Южная Америка, где Менгеле будет скрываться от правосудия почти до самой смерти. Рольф вырастет, возненавидит отца и встретится с ним всего несколько раз. Последний раз — в 1977 году, за два года до смерти Менгеле.

— Хватит, — сказал Стиратель. — Покажи будущее.

Экран погас на секунду — и загорелся снова.

Теперь на нём была другая фотография.

Освенцим.

Серая, промозглая, бесконечная равнина, уставленная деревянными бараками, колючей проволокой и кирпичными трубами крематориев. В воздухе — дым. Не тот, что от дров, а тот, что от тел — густой, жирный, с привкусом горелого

жира и палёных волос. Он проникает всюду: в одежду, в лёгкие, в еду, в сны.

На переднем плане — человек в белом халате и фуражке СС. Он стоит на платформе, в окружении офицеров и собак. Из вагонов выгружаются люди — сотни, тысячи. Старички, женщины, дети, младенцы. Все они смотрят на него. Он смотрит на них.

Указательный палец поднимается и опускается, поднимается и опускается, как метроном, отмеряющий не ритм музыки, а ритм смерти.

— Направо — работа. Налево — газ.

«Налево».

«Налево».

«Налево».

На экране замелькали лица. Сначала чёрно-белые, потом цветные. Жертвы.

Ребёнок, лет трёх, с азиатским разрезом глаз — еврей из Польши или Венгрии, Стиратель не мог определить. Его

мать держит его за руку. Она ещё не знает, что её ведут в газовую камеру. Она думает, что это просто переезд. Через несколько минут они войдут в помещение, которое называется «душевая», и из кранов вместо воды пойдёт газ. Четырнадцать минут — и она замрёт навечно в агонии, прижимая к груди мёртвое тело ребёнка.

Близнецы. Всегда близнецы. Две девочки лет десяти, с одинаковыми косичками и одинаковыми испуганными глазами. Менгеле обожал близнецов. Они были его лабораторными мышами — только вместо мышей были дети. Он впрыскивал им в глаза краски, чтобы изменить цвет радужки. Он сшивал их вместе, пытаясь создать сиамских близнецов искусственным путём. Он ампутировал им конечности, чтобы посмотреть, как быстро они заживают. Он заражал их тифом, а потом пытался лечить, не зная ни доз, ни лекарств.

Из трёх тысяч близнецов, прошедших через его руки, выжили меньше трёхсот.

Карлик. Женщина с аномально короткими ногами и руками, взрослое тело в миниатюре. Менгеле приказал привезти её из специального лагеря для карликов, устроил для неё отдельную камеру, как для редкого экспоната. Он измерял её каждый день, брал пробы крови, спинномозговой жидкости, кожи. Она продержалась шесть месяцев. Потом он убил её

одним уколом и отправил её череп в Берлин, в музей расовой гигиены.

Монахиня. Полька. Ей было двадцать два года, когда её арестовали за помощь еврейской семье. Менгеле стерилизовал её рентгеновским облучением — без наркоза, без предупреждения, без последующего лечения. После лагеря она не смогла иметь детей. Прожила до восьмидесяти лет — одна.

Старик. Профессор из Краковского университета. Менгеле впрыснул ему в сердце фенол — потому что тот отказался сказать, что он — нижестоящий человек. Обезглавленный труп старика отправили в анатомичку для вскрытия, потому что Менгеле хотел посмотреть, как выглядят мозги унтерменша, предавшего свою расу.

Лица текли и текли, бесконечным потоком, как вода в прорванной плотине.

Стиратель смотрел на них ровно минуту. Четвёртое правило Кодекса: минута молчания перед каждым стиранием.

Он не отводил глаз. Он вглядывался в каждое лицо — в следы слёз, в сломанные носы, в клейма на руках, в пустые, уже неживые глаза. Они смотрели на него с экрана, и он смотрел на них. Не из жалости — из уважения. Уважения

к тем, кто погиб, и к тем, кто мог бы погибнуть, если бы не его работа.

Минута истекла.

— Цель всё ещё активна? — спросил Стиратель.

— Активна, — ответил голос. — Временная координата — 1 сентября 1939 года. Место — Гюнцбург, Бавария, Германская империя. Объект находится в родительском доме по адресу Линденштрассе, 14.

— Что происходит в этом времени?

— Начало Второй мировой войны. Германия вторглась в Польшу в 04:45 по местному времени. Менгеле призван на военную службу. Через несколько дней он должен отправиться в учебный лагерь, где присоединится к 5-й танковой дивизии СС «Викинг» в качестве батальонного врача. Если не вмешаться, он начнёт свой путь к Освенциму. У вас есть точные координаты для перемещения.

Стиратель кивнул, хотя никто не мог видеть его кивка.

— Есть ли в цели оружие, угрожающее жизни оператора?

— Отрицательно. Цель не вооружена.

— Есть ли угроза изменения временной линии при ликвидации в данном месте?

— Минимальная. Ликвидация в родительском доме, при отсутствии свидетелей, создаёт наименьшее количество отклонений в базовой линии.

Стиратель встал.

Кресло под ним чуть скрипнуло — его тело было тяжёлым, земным, в отличие от тех временных теней, которые иногда посещали его сны.

— Подтверждаю задание, — сказал он. — Начинаю операцию.

Цокольный этаж штаб-квартиры, комната перемещений, через пять минут.

Стиратель стоял в центре круглой платформы, окружённой высокими металлическими дугами, уходящими в потолок. Дуги гудели — негромко, с частотой, от которой начинала ныть зубная пломба. Между ними переливался голубоватый свет — то ярче, то тусклее, как будто сама реальность

дышала, готовясь выпустить из себя крошечный кусочек материи в другое время.

— Временные координаты установлены, — объявил голос. — 1 сентября 1939 года, 22:47 по местному времени. Гюнцбург, Линденштрассе, 14. Временная ветка Б-9 — идентична целевой. Перемещение через пять секунд.

Стиратель проверил нейтрализатор. Платиновая «ручка» лежала в специальном кармане на предплечье, пристёгнутая магнитной застёжкой — выдернуть за долю секунды. Заряд полный. Дальность — пять километров. При попадании органика распадается на молекулы без следов, без звука, без трупa.

— Три.

Он закрыл глаза. Внутри не было страха. Не было волнения. Только холодное, тяжёлое спокойствие оператора, который знает, что его работа — необходима. И что никому не понравится делать её вместо него.

— Два.

Он подумал о своём прошлом задании. О Бормане в Мекленбурге, в августе 1920-го. Молодой парень, двадцать лет,

только что демобилизовался из артиллерии, работал управляющим в поместье. Ничего злого не совершил — не успел. Стиратель стоял над его кроватью, смотрел на его лицо — спокойное, почти детское во сне — и медлил. Три минуты. Пять минут. Десять.

И всё-таки нажал.

Потому что через двадцать лет этот парень стал бы Мартином Борманом, человеком, убившим миллионы.

— Один.

Он вспомнил лица тех, кто смотрел на него с экрана. Лица близнецов. Лица карликов. Лица стариков, которых Менгеле отправлял в газ. Лица матерей, которые несли на руках мёртвых младенцев, убитых его уколами.

— Ноль.

Перемещение.

Мир схлопнулся в точку размером с атомное ядро — и разорвался обратно.

Гюнцбург, Бавария, Третий рейх

1 сентября 1939 года, 22:47 по местному времени

Стиратель появился в узком переулке между двумя старыми домами с черепичными крышами и резными ставнями. Ночь была тёплой — ранняя осень ещё не успела забрать у дня последнее дыхание лета. Пахло левкоями, мокрой землёй и дымом — где-то в городе жгли костёр или топили печь, хотя для сентября это было рановато.

Он стоял неподвижно несколько секунд, привыкая к новому времени. Разница ощущалась всегда — не в воздухе, не в освещении, не в запахах. В чём-то другом. В плотности реальности, может быть. В том, как сильно ткань истории сопротивлялась присутствию чужака из другого века.

Стиратель достал из кармана светящийся экран — тот самый, с досье.

На карте Гюнцбурга, загруженной в память устройства, пульсировала красная точка. Линденштрассе, 14. В двух минутах ходьбы отсюда.

Он двинулся вдоль стены, бесшумно ступая по мостовой. На нём были обычные для 1939 года ботинки — Стиратель использовал камуфляжную систему, встроенную в костюм: она не делала его невидимым, но подстраивала одежду под

эпоху. Сейчас он походил на заурядного немецкого чиновника в тёмном пальто, каких тысячи в любом баварском городе.

Линденштрассе оказалась неширокой улочкой, застроенной двухэтажными особняками с ухоженными палисадниками. Дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга, за высокими коваными оградами. В этом квартале жили зажиточные бюргеры — владельцы фабрик, директора банков, высокопоставленные чиновники.

Дом номер 14 выделялся даже на этом фоне.

Трёхэтажная вилла из светлого камня, с эркерами, башенкой и резными наличниками на окнах. За домом угадывался большой сад — дубы и клёны стояли стеной, почти скрывая задний фасад. Над входной дверью теплился газовый фонарь — Стиратель на секунду задержал взгляд на его пламени, таком живом, таком дрожащем, таком отличном от ровного электрического света его родного века.

Вот здесь, за этими стенами, прошло детство Йозефа Менгеле.

Здесь его учили ходить, говорить, читать.

Здесь его мать, Вальбурга Хупфауэр, женщина властная и требовательная, читала ему сказки на ночь и шлёпала за непослушание.

Здесь отец, Карл Менгеле, показывал сыну чертежи сельскохозяйственных машин и говорил: «Когда вырастешь, возглавишь компанию».

Здесь у него были игрушки, книжки, сладости.

Здесь, если верить психологам, формировался характер этого человека.

Стиратель не верил психологам.

Стоя перед домом, где чудовище провело свои лучшие годы, он испытывал только одно чувство: странное, почти абсурдное удивление от того, насколько нормально всё выглядит. Никаких черепов на столбах, никаких дымящихся печей, никаких воплей под пытками. Обычный дом обычной семьи. Внутри сидят обычные люди — может быть, в этот самый момент пьют чай и обсуждают новости. Сегодня, 1 сентября, Польша атакована. Гитлер выступил по радио с объявлением войны. Вся Германия ликует или притворяется, что ликует.

А где-то в доме, на втором этаже, возможно, у окна стоит молодой человек двадцати восьми лет, который через четыре года станет «Ангелом Смерти».

Стиратель перелез через ограду.

Забор был невысоким — кованые прутья с завитками на концах, почти декоративный. Миновал палисадник, сухие кусты гортензий прищлись по плечо. Подошёл к стене дома, прижался к ней спиной.

Окна первого этажа были плотно закрыты ставнями. На втором — в одном из окон, выходящем на улицу, за шторой слабо горел свет.

Стиратель вытащил сканер — крошечное устройство размером с сигаретную пачку. Прибор засветился зелёным, показывая тепловые сигнатуры внутри дома.

Три сигнатуры в гостиной первого этажа. Две женские, одна мужская.

Одна сигнатура на кухне — женщина, хлопочущая у плиты.

И одна — на втором этаже, в комнате, выходящей окнами

на улицу. Мужская. Одиночная. Биение сердца слегка учащённое — может быть, волнение, может быть, просто усталость.

Йозеф Менгеле.

Стиратель убрал сканер и замер, вслушиваясь в ночь. В доме было тихо — слышны были только приглушённые голоса где-то в глубине здания. Семья обсуждала последние новости. Войну. Польшу. Будущее.

Стиратель обошёл дом по периметру, проверяя возможные пути отхода. Сад был пуст и заросшим — трава по колено, старые яблони, в углу сарай для садового инвентаря. Через заднюю стену можно было уйти в переулок, который выводил на параллельную улицу.

Отличное место. Без свидетелей.

Оставалось только ждать.

00:15, 2 сентября 1939 года

В доме погас свет.

Стиратель видел, как одно за другим гаснут окна — сна-

чала на первом этаже, потом на втором. Окно Менгеле погасло последним, около полуночи.

Молодой врач не спал дольше других. Что он делал в эти часы — читал? Размышлял о войне? Боялся?

Стиратель не знал. И знать не хотел.

Он подождал ещё двадцать минут — чтобы все в доме точно погрузились в сон. Затем бесшумно подошёл к чёрному входу и приложил к замку электронную отмычку — устройство, созданное за шестьдесят лет до того, как здесь изобрели первые электронные замки. Замок щёлкнул, поддаваясь.

Стиратель вошёл.

Коридор первого этажа тонул во мраке. Окна были закрыты ставнями — снаружи не просачивалось ни лучика света. Стиратель включил режим ночного видения — контактные линзы окрасили мир в зелёные тона, прорисовав каждую деталь с болезненной чёткостью.

Линолеум под ногами не скрипел. Стены — оклеены обоями в цветочек. На столике у входа — керамическая собачка и стопка газет. «Фёлькишер Беобахтер», главная газета Третьего рейха. Заголовок на первой странице: «Польша со-

вершила нападение на Германию! Мы отвечаем ударом на удар!»»

Пропаганда. У них всегда одинаково — сначала ложь, потом смерть.

Стиратель прошёл по коридору до лестницы. Ступени были деревянными, старыми — скрипели под весом. Он поднимался медленно, держась ближе к стене, чтобы распределить давление. Каждый шаг — короткий, бесшумный.

Второй этаж.

Коридор. Четыре двери — в спальню родителей, в спальню младших братьев Алоиса и Карла-младшего, в ванную и в комнату Йозефа.

Дверь комнаты была приоткрыта.

Стиратель заглянул внутрь.

Большая комната. Высокий потолок с лепниной, паркетный пол, тяжёлые портьеры на окнах. В углу — письменный стол, заваленный книгами и бумагами. На стенах — несколько картин и фотография Гитлера в рамке.

Молодой человек спал на широкой двуспальной кровати с деревянной спинкой. Одеяло сбилось — видно, ворочался перед сном. На тумбочке — стакан воды, стопка книг и какие-то бумаги.

Стиратель вошёл в комнату.

Он встал у кровати и посмотрел на спящего.

На Йозефа Менгеле, которому через четыре года предстояло стать самым страшным врачом двадцатого века.

Лицо во сне было спокойным, почти безмятежным. Никакой жестокости, никакого безумия — просто уставший человек, который готовится к тяжёлой жизни.

Стиратель достал нейтрализатор из кармана.

Платиновая «ручка» легла в ладонь как продолжение руки. Идеально сбалансированная, идеально гладкая. Тёплая — физики объясняли это особым свойством материала, аккумулировавшего тепло тела, но Стирателю всегда казалось, что нейтрализатор просто... живёт. Что у него есть своя воля, своя цель, свой аппетит.

Сорок восемь раз он брал его в руку. Сорок восемь раз

наводил на цель. Сорок восемь раз нажимал на спуск.

Сорок девятый будет сегодня.

Но он не спешил.

Он стоял над Менгеле и смотрел на его лицо — это лицо, которое через четыре года будет улыбаться, отправляя детей в газовые камеры. Это лицо, которое будет равнодушно наблюдать, как матерям отрывают младенцев от груди и кидают в ров. Это лицо, которое будет склоняться над ампутированными конечностями и записывать в блокнот что-то о скорости заживления.

— Ты ещё не знаешь, кем станешь, — тихо сказал Стиратель. — Ты ещё не знаешь, что сделаешь. Ты думаешь, что ты — учёный, врач, патриот. Исследователь, который хочет прославить Германию и продвинуть науку вперёд.

Он помолчал.

— Но я знаю. Я видел твои глаза в Освенциме. Я видел твою улыбку, когда ты встречал поезда с детьми. Я читал твои дневники и протоколы твоих экспериментов. Ты — не учёный. Ты — мясник в белом халате. И ты убил бы двести тысяч человек, если бы я не пришёл сегодня.

Он поднял нейтрализатор.

Навёл на висок Менгеле — левый, чуть выше виска, на четыре сантиметра. Самая надёжная зона для точечного уничтожения.

Палец лёг на спуск — крошечную впадину в корпусе.

— Последнее задание, — прошептал Стиратель. — Твоя жизнь была ошибкой. Я её исправляю.

Он нажал.

Но ничего не произошло.

Нейтрализатор издал короткий, едва слышный писк — и погас.

Стиратель уставился на прибор, не веря своим глазам.

Сорок восемь раз он нажимал на эту впадину. Сорок восемь раз нейтрализатор работал безотказно. Сорок восемь раз цель просто исчезала, оставляя после себя чистую, стерильную пустоту.

Но не сегодня.

— Что за... — начал Стиратель — и замер.

На тумбочке, среди книг и бумаг, что-то слабо светилось.

Он протянул руку и взял предмет. Это был старый, потрёпанный молитвенник — тёмная кожаная обложка, потёртые уголки, золотое тиснение на корешке. На обложке — изображение Девы Марии с младенцем. Свет исходил не от молитвенника — от крестика, вложенного между страницами. Маленький серебряный крестик на цепочке. Менгеле снимал его на ночь и клал в молитвенник, а утром надевал снова — так делали многие католики в Баварии.

— Не может быть, — прошептал Стиратель.

Он знал, что такое нейтрализатор — и знал, что не может быть.

Квантовая декогеренция не знает преград. Она уничтожает органику вне зависимости от её убеждений, веры, возраста или социального положения. Молекулы остаются молекулами, даже если они принадлежат человеку, который молится перед сном.

Но крестик светился.

И когда Стиратель, повинувшись неясному импульсу, коснулся его пальцем, нейтрализатор в его руке издал ещё один жалобный писк — и завибрировал, как будто внутри него что-то сломалось.

— Отказ, — сказал Стиратель вслух. — Технический отказ в сорок девятый раз. Чёрт бы тебя побрал, Менгеле.

Он убрал нейтрализатор в карман и вышел из комнаты.

На лестнице, на площадке первого этажа, он остановился. Провёл рукой по лицу — жест, которого он никогда себе не позволял. Жест живого человека, а не оператора.

— У тебя есть ещё время, — тихо сказал он, обращаясь к спящему Менгеле сквозь перекрытия. — Год. Может быть, два. Я вернусь. И тогда ты не спрячешься за молитвенником.

Он вышел через чёрный ход, перелез через ограду и скрылся в переулке.

Здесь, в темноте, он достал коммуникатор — устройство, которое в этом веке сочли бы чудом техники, а на самом деле оно было просто следующей ступенью эволюции радио.

— Оператор вызывает штаб.

— Штаб на связи, — ответил равнодушный женский голос. — Ситуация?

— Отказ оружия. Нейтрализатор не сработал.

— Причина?

— Неизвестна.

— Объект жив?

— Объект жив.

— Рекомендуем вернуться для диагностики оборудования.

— Не рекомендую, — резко сказал Стиратель. — У меня есть ещё один вариант. Я остаюсь в секторе.

— Оператор, протокол предписывает возвращение в случае отказа оборудования.

— Протокол разрешает оператору принимать самостоя-

тельные решения при отказе связи со штабом. Я заявляю о временной потере связи.

— Оператор...

— Потеря связи подтверждена. Отбой.

Стиратель отключил коммуникатор и убрал его в карман.

Он знал, что идёт против правил. Значит, что должен уложиться в двадцать четыре часа — ровно столько времени потребуется штабу, чтобы зафиксировать нарушение, установить его координаты и отозвать принудительно. Через сутки его телепортируют обратно, даже если он не захочет.

Но суток ему хватит.

Он дожждётся завтрашнего дня, последит за Менгеле, выяснит, почему оружие отказало, и — если повезёт — найдёт способ завершить задание.

Если не повезёт — попробует в следующий раз.

Потому что Йозеф Менгеле не должен жить.

Гюнцбург, 2 сентября 1939 года, 07:15

Стиратель провёл остаток ночи в сарае на задворках дома напротив. Сад принадлежал семье Хайденрайхов — владельцев местного универмага, которые всей семьёй уехали на праздник в Мюнхен и должны были вернуться только через неделю. Сарай был сырой, тёмный, пахло гнилой соломой и старыми вёдрами, но Стиратель не обращал внимания на неудобства.

Он ждал.

В семь утра в доме Менгеле зажёгся свет. Стиратель увидел, как из парадного выхода вышел старик в тёмном костюме — Карл Менгеле, отец. За ним — женщина в строгом платье, с высоко заколотыми волосами — Вальбурга, мать. Они направились к чёрному «Мерседесу», припаркованному у ворот, и уехали.

В половине восьмого из дома вышли два молодых человека — братья Менгеле, Алоис и Карл-младший. Они были старшеклассниками, одеты в форму гитлерюгенда, шли бодро, с рюкзаками за плечами. На школьном пороге они расцеловались с матерью — та выглянула из окна — и скрылись за поворотом.

В восемь утра Стиратель увидел его.

Йозеф Менгеле вышел на крыльцо в сером костюме, без галстука, с газетой под мышкой. Он был небрит — двухдневная щетина на лице придавала ему вид человека, который плохо спал. Что неудивительно — через десять часов после нападения на Польшу вся Германия не спала.

Менгеле закурил.

Стиратель смотрел на него в линзу сканера, приближающую изображение в сто раз. Менгеле курил медленно, затягиваясь глубоко, со вкусом. В его лице не было ничего зловещего — просто утро, просто сигарета, просто мысли о том, что будет дальше.

Он докурил, бросил окурочок в урну и вернулся в дом.

Стиратель проследил за ним до окна второго этажа — того самого, где вчера горел свет. Менгеле сел за письменный стол, достал какие-то бумаги и начал писать.

«Письмо жене», — подумал Стиратель. — «Ирене Шёнбайн, которая станет его женой через полгода? Или уже стала? А! Свадьба была в июле. Два месяца назад».

Он придвинул сканер ближе — линзы увеличили изобра-

жение настолько, что можно было различить строчки на листе. Немецкий, готический шрифт.

«...дорогая Ирена, я не знаю, когда увижу тебя снова. Война — это ужасно, но это необходимо для величия Германии. Мы должны быть сильными...»

Пропаганда. Штампы. Чужие слова.

Стиратель выключил сканер и откинулся на ворох соломы.

Он ждал.

Час. Два. Три.

В одиннадцать утра из дома вышел Йозеф Менгеле — чисто выбритый, в строгом костюме, при галстуке. В руке — кожаный портфель. Он сел на велосипед — старый «Цюндапп», выпуска начала тридцатых — и покатил по Линденштрассе на восток.

Стиратель выскользнул из сарая и двинулся следом.

Пешком догонять велосипед было трудно, но Стиратель не торопился. Он знал, куда направляется Менгеле — в

центр города, где находилась городская управа и штаб призыва. Сканер показывал маршрут, проложенный по данным из досье.

Менгеле свернул на Кирхгассе, проехал мимо ратуши, миновал собор Святого Мартина и остановился у здания с нацистским флагом над входом.

Центральный призывной пункт города Гюнцбург.

Стиратель подошёл ближе и встал под старой липой, откуда хорошо просматривался вход.

Менгеле поставил велосипед у стойки, поправил галстук и вошёл в здание.

Стиратель подождал полчаса.

Затем у него созрело решение.

Гюнцбург, 2 сентября 1939 года, 17:20

Йозеф Менгеле вышел из призывного пункта только через шесть часов. Его лицо было бледным — не от страха, от усталости. В руке он держал предписание о мобилизации: сапёрный батальон 5-й танковой дивизии СС «Викинг». Через

три дня он должен явиться в учебный лагерь в Бад-Тёльце.

Стиратель знал это — он читал приказ вместе с Менгеле, через оптику сканера, с пятидесяти метров. «Оберштурм-фюрер СС Йозеф Менгеле — назначен батальонным врачом. Явка до 5 сентября 1939 года».

— Пять дней, — прошептал Стиратель. — У тебя есть пять дней, чтобы жить.

Менгеле сел на велосипед и покатил обратно к дому.

Стиратель не стал следовать за ним — теперь он знал всё, что нужно. Место жительства, график, род занятий, привычки. Оставалось только одно — найти окно для ликвидации.

Он вернулся в сарай и начал планировать.

Гюнцбург, 5 сентября 1939 года, 21:30

Последний вечер перед отправкой на фронт.

Стиратель знал это, потому что следил за домом Менгеле четвёртые сутки подряд. Он видел, как собирали чемоданы, как мать Вальбурга плакала на кухне, как отец Карл суетился с документами, как младшие братья смотрели на старшего с

плохо скрываемым страхом.

Война только началась, но она уже стучалась в двери каждого немецкого дома.

Менгеле был на втором этаже, в своей комнате. Свет горел, но шторы были задёрнуты — впервые за всё время наблюдения.

Стиратель сидел на корточках в кустах сирени у забора и сжимал в руке нейтрализатор.

Он трижды пытался нажать на спуск.

Трижды нейтрализатор пищал и гас.

— Почему? — прошептал Стиратель, глядя на прибор. — Почему ты не работаешь?

Ответа не было.

На четвёртую ночь Стиратель решился на отчаянный шаг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.